

Сергей Катков

## ДЕСЯТЬ ЛЮБОВЕЙ СПУСТЯ

I

«Ах, как смешно... как хорошо-то... как же хорошо... незачем было столько сомневаться, ломать пальцы, разбросавши... и ведь столько лет ждать, когда придет это позорное благоразумие...» Володя больше не сомневался, переходя на светофоре, не загадывал на секунды до зеленого, не считал полосы «зебры», не боялся встретить сходства в случайной незнакомке. Остановившись закурить, заметил, что как бы другой частью сознания наблюдает за собой уже несколько минут. Вот за этим «как смешно, как хорошо». Прикурил и снова пошел. И снова забылся в насмешливых причитаниях, одергиваясь, как будто стяхивая с одежды грязные уличные капли.

Над Ленинградкой дрожала влажная мгла, бешеная черная плазма, раздрызгиваемая машинами. Машины неслись и разносили свой гул и тяжелый сожженный воздух, угрожая вырваться за пределы земного тяготенья, взорваться, сойти с ума — бесчисленно, бесчисленно и бессмысленно много нас здесь.

Володя краснел, алкоголь ударял ему в голову, циклами возвращаясь таким смешным, детским, азбучным теперь стыдом. Пять лет назад Вова Черёмушин, закончив филологический, вопреки всем педагогическим подталкиваниям и дружеским убеждениям, навсегда бросил родное литературоведение и «ушел в жизнь», как он тогда говорил. Его заверяло в своей лояльности подготовленное место в аспирантуре, очень удобное во всех отношениях. Будущая диссертация без всяких затруднений вытекала из дипломной работы. «Научным» должен был стать мягкий, лирический старичок с желто-седым пухом на голове, с задумчивыми, увиливающими глазами, нежный профессор-литературовед. Здание факультета находилось в пяти минутах пешком через

тополиный парк, который закрывался на зиму и разве что только этим увеличивал расстояние от дома до науки. Наконец, там же ему обещали шестичасовое еженедельное преподавание: обзорный Серебряный век у первокурсников. Все должно было «быть хорошо» — «хорошо» именно с той интонацией, которой уговаривают себя и заговаривают судьбу неудачники: «все будет хорошо». А тут судьба складывалась сама. И все и так уже идет «хорошо», все довольны, пейзаж жизни не нарушается: спокойный тихий парк за окном и в доме большие часы, бытовой механизм которых давно налажен.

Володя нащупал в кармане бумажку, вытащил, сощурился. Свет автомобиля выхватил праздничное печенье-пожелание: *«Обратная сторона кризиса — новые возможности»* — скомкал и выбросил, как плевок.

Именно так про возможности он тогда и начал думать. Неизвестно, что у Вовы было на душе.

С одной стороны, вся предыдущая жизнь нескольких лет разверзала перед ним перспективу отдалиться во вполне естественное и закономерное состояние предстоящей научной деятельности. Другая возможность была незакономерной, неестественной, но по-настоящему страшной. Увлечение декадентской лирикой, нищестанством и философией «сверхчеловечества» серьезно отравило его мозги сладким, ужасающим дымом исключительности и обособленности. Сама идея, что он должен будет идти путями изведанными, смотреть и разговаривать с людьми голосом и манерой ожидаемой, строить свое будущее, как здание по проекту, давно утвержденному логикой всего того мещанского повествования, которое он так черно презирал, — все это делало его бессильным и безликим в барельефе грядущей жизни, которая собиралась влить его в себя неизбежным раствором обязательств и необходимостей.

Володя загадывал, что скажет человек, разговаривающий с ним. И предсказание сбывалось. Володя делал чертеж событий. И они расцветали реальным воплощением. словно он видел сон, протекавший перед ним горизонтальным потоком. И попытки вынести вовне свое раздражение, вторгнуться и нарушить это как бы подводное, но неповредимое, неприкасаемое изображение, только едва-едва

возмущалось откликом неясного и смутно-подозрительного непонимания со стороны окружающих. Он чувствовал себя нездоровым, недоовоощенным существом, изнутри которого лезло ломавшее его нечто сверхличное. Логика, чистая умственность презрительно отторгалась от детской зависимости находиться среди этих лиц, людей, бытовых толп. О себе он думал намного больше, чем следовало бы. А успехи в учебе, несомненно, складывались исключительно за счет его кристальной гениальности.

В начале четвертого курса ему встретилась факультетская первокурсница. Очень, очень милая полнокровная девочка, с грациозно гармоничными пропорциями, неудержимой женственностью, с выражением доброго, лукавого кокетства, ямочками, голубоглазьем, грудным колыханьем. Он сошел с ума прямо там же, на месте, припечатанный, как муха, любовным каблуком. И все сразу же понял. Что ничего не выйдет. Все дальнейшее мытарство вокруг ее фигуры и образа в целом. Бесплезность попыток заговорить. Бесплезность взглядов донести это чувство. И все будет неловко, неуместно и несовместимо.

Он заставлял себя видеть в ней подобную же, схожую со своей, исключительность, поднимавшую ее через красоту на подножку недосягаемости, пронося над всеми, депортируя из унылого обывательского пейзажа в край необыкновенной, надменной исключительности и так далее и тому подобное до бесконечности.

Но в иной раз, заходя со здоровой, рассудочной стороны головы, заглядывая за кулисы нормальной жизни, он, конечно, понимал, что это нечто вроде управляемого умственного расстройства. Его зрение раздваивалось на глаз эстетический, «сверхзрячий», высокомерно лорнирующий, — и близорукое, обиходно-домашнее, практично-бытовое глазное яблоко, зрящее лица очень близко и конкретно. Зачем же тогда было себя мучить? Зачем было выносить свое дурацкое сверхчеловечество наружу?

Он написал для нее ницшеанскую(!) сказку, в которой герой — семитский(!) принц из пустыни — шел и побеждал ночного дракона, закованного в шелест железной чешуи. Сказка была принесена.

Свернута в свиток. На клетчатой рубашке листков синели рукописные прожилки. Он так жутко стеснялся, так неловко втиснул бумажку ей в руки, в окружении однокурсников, так серьезно (злобно-злобно: она видела) посмотрел ей в глаза — как будто нарочно делал так, чтобы ничего не вышло. Ничего и не вышло. Она не поняла, зачем самые лиричные места касались муравьев и пчелок, продолжавших жизненный цикл, зачем весь остальной эпос трудился вокруг романтического пританцовывания принца, свернувшего со стадии льва в вечно буддийскую беспечность ребенка; зачем вообще это все с такими глазами и вообще почему он такой странный.

Ничего не выходило и потом. Несколько раз. Когда он пытался встречать ее — на учебу и с учебы, когда пытался провожать домой. Однажды она заметила трещинку в стекле его очков. «Это из-за морозов», — попробовал пошутить он и с жаром, почти со слезами целую неделю припоминал детальку ее крошечного сопереживания.

И неудачные зимние попытки прогулок. Когда она ускользала из-под его носа с другими. И звонки ей с разговорами, становившиеся обоим в тягость. И потом весенние встречи, с попытками молчаливого объяснения, когда после зимних пальто, обтягивающих ее талию, шляпок, обжавших — обожавших! — небесной войлочной замшевостью ее головку, когда все женщины уже носили одежды этой девушки, говорили ее грудным и звонким голосом, трепетали отражениями в витринах. И плыл большой-большой мир, ушедший деятельностью под воду, в потусторонность воображения, где хлестали груди тетрадных стихов, крошивших по корешкам акrostихи ее имени, такого жгучего, желтого и шерстяного.

Он загадывал, что сейчас она выйдет из-за поворота. Пройдет мимо — настырная и высокомерная. С лицом, обмеленным мукой бледности вокруг губ. И выходила, и сердце загоралось, и досада брызгала в глаза слезами. Он считал на перекрестках полосы «зэбры»: если будет нечетное число... Складывалось четное, но была еще половина полоски, плюсовавшаяся до целой. Загадывал на числа птиц, пуговиц, страниц до нужной главы — и всегда все можно было подогнать под желаемое.

Последняя майская встреча столкнула их в открытом кафе среди веток сирени и бессмысленного студенческого щебетания. Желтая кофточка гудела низким тоном, выплескивая из себя розовое томление кожи, синие близорукие глаза капали фортепианными нотами, губы, губы атели альтом и подбородок склонялся к груди, словно в попытке соприкоснуть виолончельные голосовые связки.

Она сделала глоток и облизнулась. Глаза откосили от Володиного взгляда и перешли к какой-то конкретике: стали читать. Вова, сидевший напротив с пирожным, был ей скучен. Точно так же была скучна ее книга по методике преподавания литературы в начальных классах.

— Душистой веткой машучи... — проговорил Вова, чуть макая салфетку в крем пирожного. — ... Впивая впотьмах это благо... — Она перелистнула. — ... Бежала на чашечку с чашечки... — Прицепив к салфетке листок сирени, поволок его к стаканчику, обогнув мыс ее руки. — ... Грозой напоенная влага ... От чашечки к чашке движучись... — Она переставила стаканчик. — ... Прелестные пальцы миную... — Вздохнула. — По заявкам первокурсниц филологического факультета для вас прозвучала вариация на стихотворение Бэ Пастернака. Если вы только захотите...

— Не хочу.

— Стыдливая нехочуха...

— Что?

Она встала, быстро собралась и ушла. Вова сидел, наливаясь под сиренью лиловым, сонливым стыдом.

Было потом полное переворачивание себя, воспитывание из тщедушного синевато-трагичного затворника позитивного краснощекого рубахи-парня. И тогда, планомерно, упреждающими ударами, чтобы расшатать себя, расколебать, на пятом курсе он впервые в жизни стал ходить на студенческие тусовки. Неприлично напивался, играл в «бутылочку» на холодных сентябрьских лавочках в парке, дебоширил и гудел в общаге, почувствовав вкус беспризорной свободы. И были какие-то бессонные обещания вырасти над собой до невозможности, до глобального невмещения в существующий мир, где она сама узнавала бы о нем и узнавала бы в том виде, в котором он видел и знал самого себя, понимала его точно так же, как он понимал себя, и тогда уже возвращалась бы к нему, обряженная в одинаковую с ним гениальную

однородность или — изредка, но не менее желаемо — сбрасывалась с пьедестала ему под ноги! И так прошел пятый курс. И диплом его встретил чуть ли не в спортзале в том общем настроении, когда просто надо, хотя уже и не нужно. Все это накладывалось на уже пред-решенную его несчастную участь.

Остановившись у очередного перекрестка, Володя поднес к губам ладонь, с силой сжал зубами стиб большого пальца — в стыде, в стыде воспоминаний, желая высмеять, высмеяться, чтобы выдавить из старой душевной раны яд прошлого.

Конечно, он был совсем уязвлен тогда. Не обратила внимания, не поняла, не увидела, кто и какого масштаба подошел к ней. Он же — верил в судьбу, он же — знал о чуде. И он был допотопным ницшеанцем, недосверхчеловеком, эгоистом, просто дураком. Дураком! дураком он был! какую девушку упустил!

Перед тем, как уйти в армию, Володя степлером запечатал несколько — особенно толстых — зеленых «тетрадей для стихов», а остальные сжег. На костре в том самом тихом парке за окном. Еще как горят и еще каким зеленым пламенем! Не синим, как ее глаза. Синего больше не существовало.

Ему повезло, он попал на юг Подмосковья. В гвардейскую бригаду. Его научили ушивать, перешивать и расшивать воротнички, топтать сапоги, курить, «спасать» еду и любую вещь и не удивляться органической и организованной тупости происходящего с ним неуникального события. Он запомнил караульную службу возле часовни на Знаменке и напротив автомобильного музея на Фрунзенской, в Генштабе и Военной прокуратуре, ледяные постовые ночи и жуткий голод (ну-ка пофилософствуй теперь: голод — это желание есть или просто недостаток еды? Субъективное представление о недостатке питательных веществ в организме или субъект-объектное отношение?) Сбоку плаца на офицерской многоэтажке было натянуто гигантское изображение инфантильного главнокомандующего. Неуникальность освободила его от любовного бреда и «сверхчеловечности», когда наличное и буквально нателное бытие стало единственным, спокойным и настоящим способом существования, доказав, что ничего из этой философии

не существует по-настоящему, потому что только артиллерист-неудачник, провалявшийся несколько недель с больным животом, мог возвеличить такой бред. Вместе с этим бредом выветрились струями шелухи и стихи: строчка за строчкой. И теперь Володя сознательно ничего не смог бы привести в доказательство своего прошлого чувства. Ничего не было. Ничего не осталось. Полное обновление. Все началось заново и по-другому.

Стоя возле последнего перекрестка перед домом, он смотрел на сжатую в боках чернотой московской ночи высотку. Разноцветный коробок, набитый новогодними огоньками. Все они мерцают «привет! привет!», а один должен быть очень знакомым, но его пока не различить.

Голова стыла на ветру, отходила от шампанского и воспоминаний. И жар стыда тоже отходил от щек. Сегодняшняя нечаянная встреча с ней заставила его только сожалеть. Он даже не сразу вспомнил имя, хотя еще боялся увидеть тот далекий, выкристаллизовавшийся в нем когда-то образ ее фигуры и лица. Иногда подобное сходство других женщин с ней заставляло его вздрагивать. А сегодня он ее даже не сразу узнал.

## II

Время «десяти любовей» — долгая весна в несколько лет, длившаяся после армии, словно непрерывно проведенная по стене полоса краски. Встречи случались и весной, и зимой, и осенью — лета только не было, — но все ему казалось, это весна, и он в куртке нараспашку выбегает на улицу, и март, март, снежинка, не сохраняясь, плавится в воздухе, не прикоснувшись к коже. Володя спешит на первое собеседование. Непривычное к свободе волеизъявления тело еще не откалибровано, его бросает в крайности, оно подстраивает опоздание, стремится к алкоголю, подсказывает к машине: «Девушка, милая, здесь выезд на одностороннее, сажайте меня немедленно к себе, иначе не оберетесь штрафов». Девушка тоже опаздывает, послушно сажает его, спешно обсматривает себя в зеркало заднего вида, по совету Володи, прячась дворами, выезжают на проспект и вклиниваются в киломе-

тровую пробку. Был ноябрь, первый большой снегопад. Москва встала в пробках, Володя не попал на собеседование, доверчивая Ася — так зовут водителя маленького «пежо» — окончательно опоздавшая в свой «Ростелеком», с досадой роняет: «Вылезайте вон», — чуть не плача. Так они познакомились.

Он беседовался, она его подвозила, весной планировали скататься в Европу. Удивительно, как женщина с опытом одиночества подвержена необходимости оберегать свои комплексы. Ася накомплексовала себе целую судьбу. По поводу золушкиных ограничений в детстве, по поводу академической юности среди родителей-мэнээсов, по поводу прыщавых мальчигов-технарей, в то время как ей хотелось бы гуманитарного принца.

Наступил март, уже настоящий, не Володин, и Ася, терзавшаяся еще одним комплексом «работа-квартира», отчалила: девушке из Новосиба отчаянно нужна была уверенность в завтрашнем дне в виде состоятельного попутчика, а не ежедневные пробки. Она подвезла Володю к месту работы, на которую он все-таки устроился, сообщила, что все это время жалела его, а теперь может сказать, что с января катается не одна. Бедрa у нее были стрекозиные, узкие, как приклад винтовки, так что Володина присказка про «девочку с маленькой жопё» окрысилась из Асиных глаз новым комплексом. «Спасибо, что прокатила», — добавил Володя и хлопнул желтой дверью.

Потом была крупная Разговорова, поразительно молчаливая, не смотря на фамилию, и подозрительно мало знающая про Пелевина: «Что-то такое слышала». Они шагали парками: он говорил и говорил, она безропотно слушала, к вечеру ему откровенно казалось, будто гуляет он сам по себе и разговаривает тоже сам с собой. Разговорова, улыбаясь, самолично расстегивала блузку и далее, очерчивала мраморную грудь розовым бутоном, загадочно улыбалась, и, пока он говорил и говорил, чтобы доказывать ей, что между ними сохраняется безопасное звуковое расстояние, она еще демонстрировала себя, изгибаясь в сумерках квартиры. Когда его голос иссякал, скомканный в хрипоту, она так же самолично застегивалась, словно демонстрация заканчивается, на сцене гасят свет и кулисы съезжаются.

Внахлест с Разговорой Володя встретил Алину из подъезда по диагонали. Как-то она приехала к нему, еще служившему, худому,



удивленному. «Проезжали мимо и решили проведать. Как ты?» и легонько коснулась обшлага его военной формы. Они учились на одном факультете, она на два курса младше. Из авто недалеко от КПП на них пристально смотрел водитель. Теперь оба свободны, и, соприкоснувшись рукавами, пошли вместе: до магазина, потом к остановке, потом гуляли в центре и так же вместе вернулись обратно. «Завтра будет осень», — сказала Аля. «Да. А похоже, весна», — отвечает он приветливо и очень пронзительно вспоминает о своей безымянной факультетской весталочке.

«Только не заведи себе служебный роман... только не служебный роман». И все, как один, были как раз служебные. Он не дождался «или я, или твоя работа», закинул вещи в сумку и, пересекая двор по гипотенузе, вернулся домой. Черноволосая Лера с армянскими корнями, сестра начальника отдела, отобрала его у Али и переселила поближе к работе, так они сняли «однушку» рядом с офисом и занялись налаживанием отношений.

Лера, владевшая немецким и фанатка мобильных решений даже в условиях санузла, не отрывала глаз от своей «ретины». Десять раз в день она сносилась с немецким офисом конторы, а между этими сношениями существовала в соцсетях. Зато на выходных они лайкали друг друга везде и *küssen in allen Orten*.

Вместе с работой Володя потом потеряет эту армянку Леру и, возвращаясь на такси в холостяцкую квартиру, так и не успевшую побывать в категории «Сдается двухкомнатная с видом на тихий парк», будет думать, как же давно он перестал быть самим собой. А пока они кому-то звонят, договариваются о встречах, едут в ближнюю Европу, пока *küssen in allen Orten*, пока у нее невроз и склероз: она конвейером гонит десятки мейлов и во все соцсети мира, — он встречает другую Леру, не армянку, увозит ее в Питер и ведет в ресторан на Петроградке, рискуя, выигрывает ее тело на ночь, — все это происходит вместо того, чтобы лечь на кровать, уткнувшись в подушку лицом, и проспать до весны.

И тут весна закончилась. Володя утратил свою боевую беспечность, словно где-то выронил ее, как однажды гуляющий ветер в метро смахнул закладку из книги, которую Володя присел полистать, ожидая поезд: бежевая сторублевка, вращаясь, понеслась в туннель, а он только смотрит, как его жизнь удаляется, словно воздушный змей, которому обрезали уздцы.

Еще были Тоня, Леся и, кажется, Ира, но на них весны едва хватило, кисть сухо чиркнула по стене. Володя последние месяца два, изображая оптимизм, стал подмешивать свое присутствие в кружки прежних знакомств, где мог бы что-то узнать про свою весталочку эпохи «ницшеанства». Кажется, именно Ире, худой, с ломким волосом и голосом, но зато с шикарными полноразмерными бедрами, он проговорился: «Если бы мы встретились раньше...» — «И что тогда?» — «Я бы еще мог остановиться...» Тем не менее, с ней он проспал до зимы.

В приятельских кругах говорили разное, в том числе про прокуроршу-брошенку, чуть не ставшую Володиной бывшей, с которой они ходили на бал и карнавал, на Патриаршие и в Гостиный двор — покушать шоколадные фигурки с ликером. Благо, дальше фигурок у них не зашло. Теперь она нещадно судит за алименты и любовное тунеядство, в ее кодексе есть такая статья. Володя по-тихому удаляется из круга и ищет дальше.

Почему ему нужны были именно философические выверты любви? С прозрениями, с безымянной глубиной отношений, которую необходимо наполнять и переполнять словами, труднодоступным фуэте приближения к космологически удаляющемуся предмету интимного познания. А ведь у него была своего рода теософская развилка, недоказанная, оброненная где-то там, в момент их упущенного откровения. Если бы он сказал ей нечто большее, настоящее, скажем, то единственное признание, которое с необходимостью ставит лица людей друг перед другом. И неважно, что она все равно отвергнет его, там, на этом перекрестке, ему до сих пор нужен был сам акт признания как невероятной энергетики сублимация акта физиологического напряжения. Ведь Володя в таком вот именно модусе представлял, как должно обосновываться причащение людей друг другу: если любовь есть, то есть сущностно есть, говорил себе Володя, тот еще студент и радикальный философский язычник-ницшеанец, тогда неопровержимо есть и Бог, с неизбежностью доказанный этим актом всеобщего пантеистического счастья. Любовь есть чудо и любовь есть доказательство необратимости любого всемирного чуда, вплоть до божественного присутствия в делах космоса и человека. Любовью творятся те же самые законы, формализованные Ньютоном, только их имена хранились бы под большой немотой, до тех пор, пока их не

секуляризуют и пока не вскроют конверты с их именами. И с этого момента секуляризации, так говорил Володя, с этого момента деградации чуда пошли уже и Аси, и Али, и Разговоровы, армянка Лера и все остальные Иры и Тони, которые были мирскими атаками на горную безмянную высоту, куда он так и не приполз, молясь и задыхаясь.

Такие открытия, которые открытиями-то и кажутся в двадцать-двадцать два, для теперешнего Володи выглядели как сатиры на древнегреческой вазе, румяные и пьяненькие, которые, подбрасывая копытца вверх, проходят вприсядку по окружности вазы. Теперь это «песнь козлов», а когда-то она была дионисийской трагедией. Не мировоззренческий прорыв, который более-менее правдоподобно объясняет устройство вселенной, а терапевтическое самообъяснение в собственной слабости и избегании нормальных человеческих отношений. Вместо того, чтобы произнести слова признания в любви, бессонными ночами он формулирует свой любовный пузырь: «Если любовь есть, есть и Бог, ведь она с неизбежностью доказывает Его существование, поскольку то и другое есть чудо. Чудо... А ведь достаточно единственного чуда, которое и все другие чудеса наградило бы обладанием возможностью». Разве это не извращенная силлогема в духе того, что Ахиллес никогда не догонит черепаху или что стрела зависнет в воздухе, в то время как на самом деле Ахиллес и бежит, и догоняет, и стрела поражает цель, а Аля, Ася, Лера, Ира сожительство с Володей? Силлогизм не удается, хотя еще и не разрушен. Логика событий не просуммирована до конца: Ася + Разговорова + Алина + армянка Лера + ... = безмянная весталочка. Так что ли? Кто еще должен появиться в этом уравнении, чтобы избыть весь алгебраический ряд в ожидании второго пришествия весталочки?

Прошел новогодний корпоратив, где надо было продолжать чувствовать свою принадлежность к благоустройству сайтов компании. Разве он мечтал о шрифтах, иконках, менюшечках и выпадающих списках, чтобы по причине их существования оказаться на корпоративе? А между тем он веб-дизайнер и из шрифтов и баннеров вяжет клиентские сайты. Как паукообразный. Неужели ему, ходившему побок с Заратустрой и стоявшему вместе с канатоходцем над базарной площадью, хотелось спуститься и сесть на свое теперешнее офисное место именно в той самой базарной толпе? Заратустрики, разменявшие ледники гордыни на обыкновенные дни, они прячут глаза

в монитор. Словно ряска, заселили офисы и стараются не вспоминать о канатоходце. Володя везде замечал таких заратустриков, которые, как и он, пристыженные, опускают глаза и продолжают свое удобное потребление.

Потом он шел к знакомым, ради подарков забегал в магазины, фантазировал, стоя в очереди, о бухгалтерше Кристине, в постель которой въедет когда-нибудь на красном феррари, улыбаясь и абсолютно какой-то голо-гламурный. Были бесчисленные звонки, и он путался в голосах, которые поздравлял, путался в поздравлениях и мыслях, общих и уже как бы присвоенных себе: словно брошенные на штурм прихожей женские и мужские пальто, шубы, куртки — выглядят такими же пьяными, как их хозяева. Так, через друзей, друзей друзей, в двадцать два пятнадцать он оказался в районе родной Ленинградки у знакомых в третьем колене.

Хозяева недавно въехали в квартиру, поэтому заодно отмечали и новоселье.

«Знаешь Ивановых?»

«Это каких именно Ивановых?»

У каждого есть свои собственные Ивановы. Володя пытался припомнить, но не получалось. У этих Ивановых пока не было лица и голоса, только относительно близкое к его дому месторасположение. Здесь он встретил Семеновых, Шукиных, Лебедевых и Аванесова, собиравшегося когда-то поступать вместе с ним в аспирантуру. Кажется, поступил. Иванов — Саша, чуть моложе Володи, Иванова — в соседней комнате с ребенком, пятимесячным младенцем. Здесь, в большой гостиной, среди шума гостей, закуски, выпивки, телевизора, стола и стульев разговаривали, пили, закусывали Шукины, Лебедевы, Семеновы, крутился этот маленький, волосатый Аванесов. Володя вдруг вспомнил. Тогда, пять лет назад, Аванесов точно собирался в аспирантуру. Все время дрожал, когда рассказывал, как сложно поступать. «Пипец-пипец», — постоянно повторял он. Когда Володя уже вернулся из армии, Аванесов все так же, дрожа, рассказывал, что поступить-то он поступил, да теперь другая напасть: сдать бы кандидатский минимум да диссертацию написать. А как сдашь, как напишешь, коль работа и жена? Кем работаешь? Менеджер в конторе по продаже труб. А диссер по журналистике? То-то и оно. Вздыхает. Пипец-пипец. Володя, будучи совсем на мели, взялся составить ему библиографию почти

за копейки, но, по словам Аванесова, источников набралось «пипец-пипец как мало», поэтому они сильно тогда стали смотреть друг на друга исподлобья. Аванесов, делая вид, что не помнит ссоры, избегал Володиных взглядов, но свой бутерброд со стола брал и свою фишечку рассказывал:

«Курица не птица, Гоша Куценко — не актер. Посмотрев на его игру, Станиславский заново бы придумал свое “не верю!”» Выглядел он так, как рисуют шаржи: маленькое утрированное тело, на которое насажена большая, размером с тело, голова карикатурного Антонио Бандераса, периода, когда тот был еще длинноволос и носил косичку. Из рукавов огромного пиджака менеджера по трубам торчат кончики пальцев. «Пипец-пипец», — говорит он с округленными глазами о своей работе. Аспирантуру он давно бросил.

Володя заглянул в соседнюю, совсем тихую комнату. Иванова недавно покормила ребенка и сидела, покачивая его на полных коленях. Молодая, красивая женщина, моложе Володи, в очках — больших, даже огромных, сбоку видна их черная хипстерская оправа; розоватая, полноватая щека, синеватый взгляд, такой, тот самый, когда лицо уже отвернулось, а цвет глаз уже навсегда запечатлелся в памяти; приятное, милое лицо с бледностью вокруг рта, словно припудренного. Ренуаровская принцесса в солнечной пылице. Несколько раз стоял он, краснея, в Пушкинском музее, что-то шепча, пока смотрительница наблюдала за его губами и пылавшими ушами. Две девушки, а на самом деле одна, анфас и в профиль, как будто раздвоившись, изображены на картине Ренуара «Девушки в черном». Та самая, его весенняя весталочка, полногрудая, круглолицая, из Парижа девятнадцатого века поступившая на Володин филфак, теперь сидела в этой комнате, и у нее теперь была фамилия. Самая знакомая. «Знаешь Иванову?» — «Иванову-то? Знаю, как не знать». У каждого есть своя Иванова. Теперь такая знакомая Иванова была и у Володи.

Пока по телевизору показывали добровольное сумасшествие телеведущих, рассказывали о крайне неудачном начале нового избирательного срока какого-то латиноамериканского деятеля — дипломатический скандал, крупный пожар, — Володя сидел в полупрострации, оправданной выпитым за день, пытаясь осмыслить, что это она, она, та самая... определившая его жизнь последних пяти лет, а может,

и вообще всю оставшуюся жизнь, которую он обречен именно вот таким образом провести с женщинами, что эта-теперь-Иванова, весталочкой которую он называл, наложила на него заклятие в виде «десяти любовей», сама того не зная. Она прошла взглядом мимо и не узнала его. Да и не могла узнать, потому что, по сути, никогда его и не знала. Как вы можете знать сидящего в зале зрителя, когда их так много, а вы играете свою единственную роль и софиты вас спелят. Она его и не знала. Пять минут их встреч и телефонных звонков на пару страниц, где каждая реплика начинается с тире, — всему этому уже пять лет и вспомнить об этом уже невозможно. Конечно, можно было бы: а помнишь, как я пытался тебя провожать, смешно было, мороз такой жуткий, и я замерз, а у тебя шляпка была вельветовая и рыжая шуба; а помнишь, весной? а кафе? а сирень? Шляпку и шубку она, конечно, вспомнит, а тебя — разве только из вежливости или чтобы поскорее отвязался: да-да, что-то такое, кажется, было.

Он, трезвея, наблюдает за ней, словно наверстывает упущенное за много лет: она подходит к столу, наклоняет голову, наливает шампанское, откусывает кусочек торта, проводит по губам сначала кончиком языка, потом вдогонку пальцем, стирая крем, одновременно кому-то улыбаясь, с кем-то разговаривая и посматривая в телевизор. Интересно, она ведет себя искренне? Она действительно такая всегда? За стеной спит ее ребенок. Это ее квартира. Голос ее мужа слышится из кухни. Внизу, наверное, припаркован ее автомобиль. А Володя ведь, скорее всего, представлял ее по-другому, если, конечно, представлял, там, тогда, в караульной службе, голодными ночами. А какой именно? А как бы она вела себя с ним? Вообще и в частности здесь, если бы он был не гость, отступивший за шторку, а ее муж. За стеной спит *их* ребенок, внизу припаркован *их* автомобиль... Это *их* квартира, за которой стоит оформление ипотеки, нервы и боязнь потерять работу. Наверняка же представлял себе что-то подобное, хоть и не помнит теперь. Но явно не такое себе фантазировал: что она будет с чужим мужем, ребенком, автомоби... Как-то она потерялась во всем этом, подумал Вова. А ведь у нее была свадьба, работа, роды, и ее тело, ничуть теперь не студенческое, потерявшее после своей принадлежности всему этому загадочность, было чужое, не то, о котором он мечтал. Не нищепанское было тело. Совершенно безо всякой живости, без новизны, без свежести, без способности к стремительности, к любовному настроению, просто

какое-то домашнее животное, вроде кошки, которое просто способно рожать, только не котят, а детей. «Опоросилась... — подумал Володя как будто с досады, озадаченно. — Просто обыкновенная женщина. Таких миллион. Выйди и ткни в любую, будет точно такая же. — Он подошел к столу, налил стаканчик водки. Первый, второй. — Не чокаясь, — это Аванесову. — Стоило из-за этого прятаться за шторками и идти в армию?»

«За что пьем?»

«... и простоять в шторках столько лет».

«Пипец, какая же... крепкая... у вас водка!»

«... все эти годы жить в общественном нигде».

«Ну, и чего ждем?»

«... это же банальнейшая тетенька, вся загадочность которой сошла на нет вместе с родами».

«Без закуси?»

«... женщина — отдохновение для воина... Так, кажется, говорил заратустрий... все остальное — глупости».

«Забыли?! Скоро же Новый год!»

«... все в женщине — загадка, говорит он, и все имеет одну разгадку — беременность. Так говорит заратускский...»

«Саш, скоро, наконец, придет этот Дед Мороз?»

«... заратускский».

«За Деда Мороза!»

Володя присел на корточки, опершись спиной о стену, наблюдая веселье непричастными, безмятежными глазами. У стола чокались и пили, и Володя тоже был там, у стола, мысленно чокался и умственно пил одну стопку за другой. Становилось спокойно, быстро, легко, будто он, мальчик-сороход, Маленький Мук, бежит с докладом к визирю, а между тем только что потерял что-то важное, какой-нибудь золотой ключик, и никто об этом никогда не узнает.

И тут проходит некоторое время. Володя уже сидит за столом и мнет вилкой мягкую селедку, когда звонят в дверь и под обширный веселый шум в комнате из толпы гостей появляется настоящий Дед Мороз.

«Ах ты, черт, чертушка...»

— А ну-ка, ребята, вот мешок, на мешке замок, стишок удалой — замок долой, кто стишок доложит, тому дедушка подарочек положит.

Гости смеются, кто-то выкрикивает «Я! Я!», а Володя ставит в центр комнаты стул и, взбираясь на него, оказывается над базарной

толпой. Вдалеке — Альпы, по ним перетекают тени облаков, небо там светлое, дальнее, а здесь, рядом с ним, оно темное, тяжелое, потому что шпиль, в который упирается его спина, длинный и уходит почти в потолок. Ветер толкает упругий ярмарочный купол, толпа внизу притихла и ждет его трюка, к которому он готовился, кажется, всю жизнь. По разноцветным головам пробегает что-то вроде водной ряби, и они делаются декоративными камушками на дне ручья. Володю пошатывает, ведь он стоит на километровом шесте, который под ветром сильно отклоняется в стороны. Повело вбок, назад, но шест гибкий, возвращается обратно, Володя посмеивается: главный трюк еще впереди. Вот рядом с ним Дед Мороз-Заратустра, похожий на Иеронима, святого из пустыни. Расхристанный, с красным носом, слезящимися бессонными глазами, с растрепанной бородой и с мешком за спиной. В мешке что-то шевелится. Наверное, человеческие души. Дед Мороз смотрит на Вову и тихо плачет. Аванесов, маленький, как обезьянка в камзоле, держит перед собой подушечку, которую протягивает Вове, на ней дирижерская палочка. Володя только отмахивается. Ему сейчас важно удержаться на канате. Вот он перед ним, подвешенный над толпой и натянутый куда-то в серую тучу. Ему бы хотелось рассказать о свободе, о том, что плевать он хотел на весь ваш вечер, на то, что наступает год желтой земляной колбасы, что есть же вещи посерьезнее женского голода колбасы, что тайна в том, чтобы взять кнут и по-ницшеански всех вас выпороть. Но этим же не модно заниматься в наши дни, нецелесообразно этим увлекаться, говорите вы. Вот и Дед Мороз подтверждает. Тот смотрит с осуждением и кивает. Да разве вам это интересно? Нет идеалов, нет тайн. Это же смешно! Этот ваш недоаспирант, недокандидат Аванесов, недонатянутый канат над пропастью, который постоянно жалуется, притворяется в своем страхе...

Это все Володя пока только готовится произнести. Надо лишь вдохнуть побольше воздуха. Но как это сделать, когда столько выпил... Тяжело, очень... Комната под ним пошатнулась, и он побежал-побежал по канату, чувствуя его упругость и сбалансированную силу, которую он не должен покидать, иначе из своего положения настоящего героя превратится в выскочку. Это он только для виду произносит монолог, а на самом деле идет по канату без страховки.



«Послушайте,— произносит он у себя в голове,— ну почему нам в красоте видится нечто возвышенное, сродни умным, правильным мыслям, как будто это не просто равнобедренный треугольник, а предпоследнее приближение к платоновским мирам? Почему при виде лица с правильными чертами, гармоничными, которые являются врожденными, только и всего, почему нам хочется плакать и смеяться и откровенничать, как в последний раз, как будто мы уяснили божественную мысль? Нам хочется чистоты, радости беспримесного смысла, как будто мы узрели крайнее философское доказательство, а не обыкновенную смазливую мордашку. Почему лицо какой-нибудь Моны Лизы или девушки с сережкой, вот эти якобы многозначительные взгляды Марии Лопухиной и Венеры Боттичелли — эти гипсовые, напряженные женские мордочки, этот чистейший обман, зачем они кажутся обещанием некоего философского блаженства? Приписываете человеческой самке премудрый вид, а она, может быть, устала, ее клонит в сон, ей завтра на работу или просто приуныла, ей так хочется колбаски. А у поэтов тут же начинает чрево вещать душа о «вечной женственности», о «незнакомке». Но ведь ей хочется быть гламурной мадамой, делать селфи и получать неземные лайки. Если где-нибудь во вселенной ведется учет лайков и как только в инстаграме капает очередной триллионный лайк, то на другом конце галактики просыпается какое-нибудь косматое чудовище, высыпает эти лайки себе в пасть и снова заваливается спать. Не кормите лайками женское тщеславие, это всего лишь чудовище вроде космической черной дыры, это бабские выходы.

Смотришь на меня, Иванова и, конечно, теперь понимаешь, насколько ты была и есть глупа всю свою жизнь, и что твоя миленькая, уютненькая красота — что-то вроде местной достопримечательности. Так некоторые люди, которые недавно начали смотреть религиозный телеканал, уже себя и святыми считают. Детка, очнись... о тебе, может быть, и вспоминать-то будут только в связи со мной...

Эээх, вы... говорите,— он начинает простодушно, наивно философствовать. А он на самом деле философствовать только что бросил, потому что такой невероятной, настоящей, подобной той, которая была в юности, такой напряженной внутренней жизни у него больше никогда не будет...

Детка, очнись... о тебе...»

Тут Вову потихоньку сволакивают со стула, заминают его неловкое выступление, напяливают на него шапку, и он, пошатываясь, идет над комнатой и выходит через окно с бокалом искрящегося звездами шампанского.

«Спасибо всем за инфоповод...»

Был ли это тот самый реализованный «теософский перекресток», к которому Володя вновь вернулся через несколько лет и на котором он произнес свое признание, закрыл наконец-то гештальт, стал самим собой, — неизвестно. Ему хотелось освободиться от давившего его несколько последних лет чувства своей ущербности и невыносимости ее, весталочки, превосходства над ним, превосходства, которое он сам создал, как будто она все это время была изолированным от божества нимбом, который Володя носил в своем воображении и примеривал к остальным женщинам. А, оказывается, нимб был, собственно, воображаемой лампочкой, ярким слепым пятном, полученным от световой любовной вспышки. Стихотворение, которое Володя читал факультетским поэтам, которое напечатали в лирическом альманахе, даже его одно четверостишие, банальное, пустое, стремящееся как можно быстрее выскочить из памяти, словно пузырек воздуха на поверхность, вот что он вспомнил и вот что рассказал, стоя на стуле, вместо длинного внутреннего монолога. Прыжок на месте, а не смертельный пробег по канату. Пустой, неизвестно откуда всплывший стишок, произнесенный ночью перед Дедом Морозом, гостями и Ивановой:

*Десять любовей спустя,  
Я вспоминал о судьбе,  
Образ твой прежний неся  
И возвращая тебе.*

И именно это необходимо было сделать. Банальными словами о банальнейшей из весталок.

Володя идет посреди миллиона шумов, людей, суеты, за пределами которых еще будут в жизни звезды, неизведанные галактики, летящая в пустоту секунда осознания собственного бессилия и приземление в новогоднюю ночь полную миллиарда одиноких

снежинок кружатся в льдинке фонаря как его собственное одиночество в ночь ночество и бездны заглядывающих в тебя окон лиц изгибающихся проспектов в тебя пока ты стоишь с шампанским перед беззвучным телевизором пьешь за наступление очередного вечного возвращения.

